

**ВЕСТНИК**  
**КОММУНИСТИЧЕСКОЙ**  
**АКАДЕМИИ**

**КНИГА**

**X**

**1925**

## Учение о рефлексах и загадки первобытного мышления <sup>1)</sup>.

Человек в своем мышлении — совершенно так же, как и в своей практике — существо социальное. Мышление есть социально-развивающееся приспособление людей к условиям и задачам их социальной практики, т. е. процесса технического и процесса экономического. Этим намечается путь к научно-объективному исследованию мышления, к раскрытию его законов, к решению его загадок. Маркс не только указал метод, он на ярком и жизненно-важном примере показал, как его применять на деле. Теория менового фетишизма — первый шаг новой науки о принципах мышления.

С этой, историко-материалистической точки зрения мне не раз случалось подходить к загадкам и первобытного и не-первобытного мышления, предлагать определенные их разгадки. Теперь же дело идет о том, чтобы к одной, значительной и наименее исследованной их группе приложить методы и данные учения о рефлексах. Не есть ли это двойственность метода, переход на точку зрения иную, чуждую первой? Насколько та и другая различны, и совместимы ли они? Вообще, каково их взаимоотношение?

Точка зрения исторического материализма есть, в основе своей, производственная, или, что то же, социально-трудовая. Труд же есть система действий определенного типа, т. е. двигательных реакций, или рефлексов по нынешней терминологии, придающей этому термину самое широкое и общее значение. Производство представляет не что иное, как социально-организованную систему рефлексов; и, следовательно, исторический материализм сводится, по существу своему, к «социальной рефлексологии» в настоящем, точном смысле этого слова. Противоречия между двумя точками зрения, таким образом, нет: они относятся одна к другой, как более общая и более специальная.

Что же именно может дать для нашей задачи приложение теории рефлексов?

<sup>1)</sup> От редакции: Редакция помещает настоящую статью в качестве материала для теоретической дискуссии.



Историко-материалистический анализ необходимо оставляет в стороне самый механизм тех рефлексов, которые координируются в системе производства и в производной от нее системе мышления. Этот механизм принимается историческим материализмом, как нечто данное, само собою разумеющееся, и лежащее вне его компетенции. Между тем, понимание этого механизма дает ключ к решению многих вопросов относительно мышления.

В частности, оно позволяет легко разяснить и преодолеть кажущуюся загадочность, парадоксальность некоторых основных черт первобытного, и даже вообще отсталого мышления. Это я и постараюсь теперь показать.

### I.

Прежде всего приходится выделить те стороны учения о рефлексах, которые особенно важны для нашей задачи.

Сложная двигательная реакция того типа, какой характеризует производственные акты, всегда заключает в своей цепи момент «сознания». Это ее центральное звено—процесс, протекающий в высших нервных центрах. Здесь происходит самое формирование реакций—их комбинирование и подбор.

Дело в том, что всякая двигательная реакция может протекать в полном и в неполном виде. Ее полная форма заключается три части: центростремительную—возбуждение периферических органов нервной системы («органов чувств») и передача его до центров; центральную—возбуждение этих центров; и центробежную—иннервация, передача нервной энергии собственно двигательному механизму (мускульным волокнам, иногда железистым клеткам). В своем целом это представляет значительную затрату сил организма, особенно третья часть, воплощающая биологический смысл реакции—действие, которое преодолевает внешние сопротивления.

Но реакция воспроизводится полностью только тогда, когда первоначальные условия, при которых она возникла, повторяются. Если не в полной мере, то в существенной своей части. Пусть, напр., вид грозного хищника на близком расстоянии вызывает определенную сумму рефлексов—реакцию бегства. В другой раз человек, положим, замечает того же зверя, но на дальнем расстоянии. Центростремительная часть реакции—зрительное возбуждение—выступает в уменьшенной и ослабленной степени; меньше, естественно, и центральное возбуждение. Иннервация, которая из него возникает, может тогда оказаться недостаточно сильной, чтобы привести в движение все подлежащие мускулы: некоторые их волокна сократятся, но недостаточно; до других ослабленный нервный ток даже не дойдет. Посторонний наблюдатель в этот момент либо отметит «поползновение» данного лица к бегству, т. е. частичное выполнение начальных стадий этой реакции, либо даже и того не увидит;

последнее означает, что она не вышла в ощутительной мере за пределы центрального нервного аппарата, задержалась в рамках «стремления», а то даже только «двигательного представления», так сказать, «образа» этой реакции. Все это—разные степени неполного ее воспроизведения. Они, конечно, протекают с гораздо меньшими затратами энергии. На этой именно их особенности основана их организационная роль в борьбе за жизнь.

Обстоятельства, требующие от организма ответной реакции, почти никогда в точности не повторяются; но очень часто новые условия момента представляют приблизительную комбинацию условий, встречавшихся раньше, но по отдельности. Чтобы взять простейшую иллюстрацию: вид врага сильного влечет за собой реакцию бегства, слабого—реакцию нападения на него. Но реальное сочетание условий может охватывать то и другое; напр., враг сам по себе более слабый, но лучше вооруженный, или напротив, более сильный, но стесненный в действиях, толкнем, охромевший от ранения. Тогда выгодная для организма, «приспосабливающая» его реакция может получиться, соответственно двойному характеру условий, путем комбинирования обоих прежних: нападение, соединенное с быстрым отступлением перед опасными ударами. Такое комбинирование на деле и происходит; но если бы оно совершалось над полными реакциями, то не только было бы связано с очень большой лишней растратой энергии, но и вообще, вероятно, ни к чему хорошему не привело бы. Все противоречащие друг другу элементы обеих реакций, смешавшись сразу, привели бы к спутанному, противоречивому целому,—как это и бывает, когда человек пытается делать «два дела зараз». Целесообразное комбинирование происходит над неполными реакциями, в сфере «сознания», в центральном нервном аппарате.

Там, не выходя за пределы «двигательных образов» и «стремлений», самые различные реакции могут без больших растрат энергии подвергаться формирующей обработке. Там их элементы, друг другу несоответствующие, заранее взаимно парализуются и тем самым устраняются; путем отбора быстро и легко складывается сложная реакция—достаточно стройная и связанная; пока этого не получилось, пока в сознании налицо их две, не согласованные между собою, они своей конкуренцией взаимно ослабляются и не могут перейти в полную реакцию, в действие; как только из них создалась одна, противоречия и конкуренция отпали—двигательный образ и стремление усиливаются, их энергия в форме иннервации достигает мускулов, действие осуществляется. Новая сложная реакция входит в запас двигательного опыта, упрочивается в дальнейших повторениях, и становится также материалом для новых комбинаций и отбора.

Так центральный механизм «сознания» вырабатывает из неполных реакций сложные «комбинированные», «условные» реф-



лексы — моторные функции, приспособляющие организм к переменным соотношениям со средою. К таким рефлексам относятся и все трудовые акты<sup>1)</sup>.

Вот к чему, следовательно, сводятся существенные для нас черты двигательных или «психических» реакций организма: будучи раз выработаны, они, вообще, воспроизводятся с каждым повторением все легче; но при частичном повторении условий, их первоначально вызвавших, они могут повторяться и в неполном виде, при чем неполнота в первую очередь относится к последней их трети, к иннервации, влекущей мускульные сокращения; иногда происходит на деле только часть этих мускульных сокращений, иногда они вовсе не наблюдаются, и вся реакция идет не дальше «стремлений» и «двигательных образов», протекающих в поле сознания, с различной, опять-таки, степенью их полноты и интенсивности.

Я не останавливался на первой, центростремительной части реакции, начинающейся с внешнего воздействия (раздражения): здесь имеется полная аналогия с намеченными соотношениями. В своем полном виде эта первая часть завершается в поле сознания, как «чувственное восприятие»; в неполном от него остаются возникающие там же «образы представления», протекающие в различном масштабе и с неодинаковой энергией в разных случаях.

После сознания есть не что иное, как общее комбинационное поле двигательных реакций. Связь же комплексов сознания, так называемая «ассоциативная», определяется тем, что сложные, комбинируемые реакции повторяются с самыми различными степенями неполноты, так что каждая их часть имеет тенденцию вызывать другие части, но на деле не постоянно влечет их за собою. Всякая психическая «ассоциация» — не что иное, как сложный комбинированный рефлекс, точнее, центральная часть такого рефлекса.

<sup>1)</sup> В своей книге «Познание с исторической точки зрения» (Прг. 1901), я подробно излагал эту точку зрения — на психику вообще, как систему двигательных реакций организма, на «сознание», как на область комбинирования и отбора неполных реакций (исходя из представления Сеченова — «мысль есть рефлекс, прерванный на двух третях»), на трудовой процесс, как цель сознательно-целесообразных реакций (согласно с определением Маркса в том месте «Капитала», где проводится различие между трудом человека и работой пчелы). Изложение теории исторического материализма в написанных около того же времени статьях («Из психологии общества»; собрание их в одной книжке вышло в 1904 г.), я, естественно, связал с этим психо-рефлексологическим пониманием производства. Тогда Плеханов и плехановцы, а теперь Бухарин (ст. в «Вестнике Соц. Академии», 1923, № 3) находят, что такая «психологизация» исторического материализма есть отклонение к идеализму. Это было бы верно только при условии не-материалистического, т.е. именно идеалистического понимания самой психики. Если таково ее понимание у Бухарина, то, как видит читатель, оно вовсе не таково у меня; он полемизирует с «преобразованным» противником.

## II.

Трудовые рефлексы различных людей координируются первоначально их общими полем зрения. Стадная группа может сообщаться с большим зверем, и каждый из нее сообразовать свои действия с действиями других, просто потому, что все они видят этого зверя и каждый видит других; таков же способ координации тогда, когда они вместе переносят большую тяжесть, напр., длинное бревно и т. п. Это — основной способ координации, он остается основным по всей линии развития производства, — но способ низший, стихийный, сам по себе вполне достаточный только для простейших случаев. Для более сложных вырабатывались приспособления высшего порядка — сначала речь, затем происшедшее из нее мышление (в специально человеческом смысле этого слова — обдумывание, размышление и т. п.).

Здесь нет надобности подробно излагать теорию Нуаре о происхождении речи, не раз мною популяризованную<sup>1)</sup>. Важно то, что наибольшую ясность и убедительность она получает только тогда, когда мы истолковываем ее с точки зрения теории рефлексов (чего не сделал сам Нуаре, по видимому, недостаточно знакомый с психофизиологией). Тогда дело представляется в следующем виде.

Трудовые рефлексы, как и все вообще сложные двигательные реакции организма, в силу величайшей связности нервного аппарата, никогда не ограничиваются всецело сокращением тех специальных мускулов, которые выполняют необходимую в каждом данном случае для организма работу. Путем иррадиации и нервного возбуждения с одних центров на другие, в реакцию постоянно вовлекаются, в разной мере, и другие мышцы; получаются «сопутствующие» движения, непосредственно излишние, в роде судорожных подергиваний всех конечностей и гримасы лица при больших напряжениях, высовывания языка при писании у обучающихся детей и т. п. Развитие путем упражнения ослабляет такие лишние движения, никогда, однако, не устраняя их вполне, — часть их даже утилизируется для подсобных физиологических целей<sup>2)</sup>. Так или иначе, эти «сопутствующие» сокращения представляют во всякой трудовой реакции некоторую неизбежную часть ее. Специальное для занимающей нас задачи значение получили те из них, которые связаны со звуком — совместные сокращения мышц дыхательных, гортанных, глоточных, ротовых. Эта часть реакции, благодаря свойствам звука, доступна членам коллектива и тогда, когда трудовой акт выполняется вне поля их зрения; она, следовательно, может играть роль «сообщения» об этом акте, и вообще его «обозначения». Именно такова и оказалась, в результате исторического

<sup>1)</sup> Напр., в «Науке об общественном сознании» изд. 3-е, 1923 г. (стр. 54—59).

<sup>2)</sup> Сокращения дыхательных мышц, приспособляющие процесс дыхания к условиям работы; также движения, поддерживающие равновесия тела и т. п.



приспособления, роль этих «трудо-вых криков» или «трудо-вых междометий»: они стали первичными корнями и речи, из них развилось, в ряду тысячелетий, все ее богатство<sup>1)</sup>.

Согласно общему закону, трудовой рефлекс при наличности не всех, а некоторой доли его условий воспроизводится в неполном виде. Если при этом реально выполняется часть входящих в его состав мускульных сокращений, то скорее всего это будут те, которые требуют наименьшей затраты иннервации. Как раз таковы «сопутствующие движения» мелких и близко к мозгу расположенных мышц, образующих голосовой аппарат. Значит, реально доступным для восприятия других людей, заместителем полного трудового рефлекса чаще всего должен являться звуковой рефлекс — «трудо-вое междометие», при чем главная часть реакции, самое трудовое действие, останется в аппарате сознания, на уровне «стремления» и «двигательного образа». Это и будет «содержанием» трудового междометия, как первичного речевого элемента — символа.

Так произошло реальное разделение трудового акта и его символа, с сохранением неразрывной ассоциативной связи между ними в сознании. Разумеется, когда трудовая реакция выступает в еще более неполном виде, то и речевой ее элемент не обнаружится внешним образом, не выйдет из пределов центрального аппарата, т. е. сведется к двигательному образу в сознании. Тогда перед нами первичное слово минус звук, или слово, которое только «мыслится», первичное по н я т и е.

Мы видели, что для комбинирования и отбора полные реакции вообще с огромной экономией энергии замещаются неполными в индивидуальной психике. Соответственно этому, и в процессе социальной выработки коллективно-трудо-вых актов они с такой же экономией замещаются их неполной формой — речевыми символами. Всякое совместное практическое обсуждение и решение есть не что иное, как предварительное социальное координирование действий, представленных словами-понятиями. Этот основной смысл явлений не изменился от эпохи первичных корней до нашего времени; он теперь только затемнен гигантским усложнением как действий, так и их символов.

Изобразим для иллюстрации схематически-простой случай из жизни первобытной группы — «орды», как ее предпочитают неточно

<sup>1)</sup> И несмотря на огромный путь развития, на колоссальное усложнение, бесчисленные вариации, встречаются еще случаи, когда в корнях слов можно уловить первичные трудовые междометия. «Так, немецкий глагол «hauen» рубить — прямо напоминает о грудном звуке «ha», вырывающемся при ударе у дровосека; русское «ухнуть» (в песне «Дубинушка») от аналогичного «ухх» бурлаков. Французское «feu», немецкое «Feuer», как и латинское «flamma», эти слова, обозначающие огонь, напоминают о том придыхательно-губном звуке, вроде «ффы», которым сопровождается раздувание огня...» («Наука об общественном сознании», изд. 3-ье, 1923 г., стр. 59). Можно было бы привести еще примеры: один из них встретится нам дальше.

называть социологи. Группе угрожает нападение со стороны соседей; неприятели приближаются, но еще находятся довольно далеко; налицо, следовательно, имеются условия для неполных реакций борьбы. Эти неполные реакции выступают в столпившемся коллективе, главным образом, как звуковые рефлексы, как первичные слова — междометия. Но они оказываются двух типов, соответствующих реакциям нападения и бегства. Первые выражаются, например, тем рычанием, которое вырывается у людей при нанесении ударов, и которое определенно слышится в индо-европейском корне «rhağ», источнике массы «боевых» слов (лат. frango, греч. ρήγνυμι — ломаю, русск. «разить», «враг», нем. ragen — свирепствовать, Rache — мечь, и проч.). Выражением реакции бегства служили, вероятно всего, звуки, связанные с дыханием быстро бегущего человека; их следы, может быть, сохранились еще в преко-латинских глаголах, означающих «бежать» — fugio, φεύγω. Так или иначе, но две группы восклицаний, противоположных по смыслу, сталкиваются и конкурируют среди возбужденного коллектива; к этому, собственно, и сводится внешний механизм «обсуждения» на таком первобытном вече.

Благодаря рефлексорному подражанию, механизму, характеризующему все социальные существа<sup>1)</sup>, каждое восклицание порождает во всех, кто его слышит, своеобразный отзвук: тенденцию воспроизвести это междометие, а за ним, конечно, и самое действие, им выраженное. Таким образом, две реакции вступают в борьбу и внутри каждой отдельной психики, стремясь вытеснить друг друга. Та из них, которая сильнее в настроении коллектива, выражается энергичнее и настойчивее, порождает более значительный отзвук во всех «согласных» с нею и «несогласных», так что понемногу вытесняет другую: одна группа восклицаний затихает, настроение коллектива «определяется для него в этом длительном своеобразном «голосовании», становится дружным, и затем переходит в столь же дружное соответственное действие.

Сложнее в проявлениях, но по тому же типу протекает обсуждение и решение во всякой случайной и стадной толпе, возбужденной сильно затрагивающим ее членом событием. В роде этого были собрания древне-русского веча, да большей частью, пожалуй, и современного крестьянского «мира», что резюмируется в словах: «погалдели и решили»...

Легко понять, насколько уже такая примитивная «голосовая» координация действий коллектива берегает его силы по сравнению с тем, как если бы вместо символов — криков сразу координировались разнородные действия, — в нашем примере одни реально начали бы нападать, другие бежать от врага и т. п.

<sup>1)</sup> Рефлексорный механизм подражания также не представляет ничего принципиально загадочного. Я его подробно анализировал в той же работе «Познание с историч. точки зр.», стр. 109—113. Но здесь нет места на нем специально останавливаться.



## III.

Реализм нарисованной нами картины подтверждается и тем, что ее полную аналогию можно наблюдать в стадной жизни других животных. С этим согласится всякий, кто когда-либо внимательно наблюдал хотя бы «галочий парламент», когда у этих птиц обсуждается вопрос о местных перелетах. Легко различить во множестве упорных повторений две-три различных по тону и тембру модуляции, которые явно борются между собою в малю гармоничном хоре. Соотношение сил постепенно меняется, и дело заканчивается дружным, однородным криком, за которым обычно следует и столь же дружное действие<sup>1)</sup>.

Языка животных люди до сих пор не знают потому, что не умеют их наблюдать целесообразно, т.-е. с выдержанной организационно-биологической точки зрения. Ее первые опорные пункты—принцип голосовой координации действий и принцип «самообозначения» рефлексов действительными междометиями (принцип Нуарэ)—тут должны дать надежный метод и твердое руководство. За это ручается и огромная широта той области, в которой применимы оба принципа,—они сохраняют силу далеко за пределами зачатков человеческой речи.

Так, совершенно несомненно, что они применимы и к эмоциональным междометиям у человека и у животных. Эмоции боли, гнева, радости, полового влечения, и т. п. есть, в своей основе, непосредственно-стихийная, «судорожная», нервно-мышечная реакция организма на глубоко его захватывающее возбуждение; у реакции этой имеется своя «звуковая» часть, которая и называется междометием. Она, в то же время, естественное обозначение самой эмоции, понятное для всех особей данной стаи, стада, или коллектива. У людей такие междометия присоединяются к чисту первичных корней речи, становясь, подобно корням трудовым, началом некоторых слов (напр., «охать», «ахать», «выть»); только развитие подобных эмоциональных корней чрезвычайно слабо и ограничено по сравнению с корнями трудовыми,—вещь также вполне понятная.—И реальная жизненная функция подобных междометий, равным образом, координационная, не прямо по отношению к действиям стадного коллектива, но по отношению к его «настроениям», являющимся подготовительной фазой для последующих действий. Напр., междометия гнева, раздаваясь среди стаи или группы, создают в ней единство наступательно-боевого настроения, крики боли вырабатывают настроение для бегства; звуки, связанные с половым влечением, координируют настроение самцов и самок для спаривания, и т. п.

<sup>1)</sup> Не случайно гений русского языка обозначил старые обычае у нас формы парламентского обсуждения словом «галдеть» — одного корня с названием галля.

Те же два принципа вполне применимы в анализе специального «детского» языка у людей. «Детские» слова, разумеется, координируют действия матери и других окружающих с потребностями ребенка; а вырабатываются на основе «самообозначения» рефлексов. Если между детским языком и языком взрослых нет полной непрерывности состава, то закономерность их происхождения и функции одна и та же<sup>1)</sup>.

Оба принципа сохраняют значение и для форм выражения не-звуковых, т.-е. мимики. На том, что жизненная сущность мимики, ее реальное значение и назначение, те же, что и речи, т.-е. координация действий, я думаю, даже нет надобности останавливаться. Но исследование легко обнаруживает и другое,—что мимический знак есть первично именно некоторая часть того действия, которое им символизируется. В массе случаев, это просто схематизированное, т.-е. сокращенное и упрощенное в оспроизведении и самого действия: мимика «описательная», напр., у дикарей в танцах военных, брачных, и т. п. В других случаях это какой-нибудь характерный и наиболее легко воспроизводимый момент действия; напр., когда враждебное отношение угрозы выражается потрясанием кулака, или только его сжатием, или всего лишь нахмуриванием бровей и сверканием глаз, которое тоже входит в комплекс боевого акта.

Наиболее широко распространенные у людей, а частью и среди обезьян утвердительный и отрицательный знаки — наклонение головы вперед и трясение из стороны в сторону — объясняются так же: первый есть привычное движение головы детеныша, чтобы схватить губами молоч матери или предлагаемую пищу, второй — отворачивание головы для уклонения от неприятного воздействия или неаппетитного предмета, хотя бы той же материнской груди, когда она предлагается уже насытившемуся детенышу<sup>2)</sup>.

На мимике особенно легко видеть, что принцип «самообозначения» сохраняет силу не только для действий, но и для предметов—благодаря той же символике действий. Мимический знак предмета образуется именно из рефлексов, соотносительных этому предмету. Таковы, прежде всего, «описательные» знаки, когда вопро-

<sup>1)</sup> Приведу иллюстративные пояснения из моей работы «Наука об общественном сознании» (3-е изд., 1923 г., стр. 35—36).

«Первые детские слова означают ближайшим образом именно действия, но, разумеется, не коллективно-трудовые, а индивидуальные, связанные с удовлетворением потребностей ребенка. Таковы: «ам» или «ням», обозначающие поедание пищи и вполне соответствующие звукам, связанным с этим актом (у некоторых племен Южной Африки «ням» означает мясо), «бя» — звук при выплевывании чего-нибудь невкусного, затем выражение для всего неаппетитного, неприятного, некрасивого; так же общеизвестное «а-а», и пр. Не представляет исключения и слово «мама», общее для самых различных рас: оно, повидимому, произошло просто из сосательных движений ребенка, берущего или ищущего губами грудь матери».

<sup>2)</sup> Объяснение дано Р. Гарнером (не знаю, им ли первым) в книге «Язык обезьян», русск. пер., изд. «Научн. Обзор», стр. 27—29.



изводят движением руки в воздухе его контур, т. е. сокращенную реакцию ощупывания, или когда, напр., для обозначения роста человека, о котором хотят сообщить, поднимают руку на соответствующую высоту. Таковы, затем, и «подражательные» знаки, которые название животного (или мнимо-живого объекта) заменяют подражанием его действиям. Дело в том, что подражательные рефлексы представляют одну из основных черт обезьян и человека, да и всех стадных, социальных животных; механизм их коренится глубоко в центральном нервном аппарате. По отношению к человеку можно определенно утверждать, что всякий движущийся предмет, поскольку он не вызывает в данной обстановке реакций борьбы или бегства, неизбежно порождает подражательные реакции <sup>1)</sup>, в той или иной степени полноты и интенсивности (т. е. в форме либо действий, либо стремлений и двигательных представлений). Предмет сам «обозначает» себя тем, что вызывает подражательную реакцию, которая становится его символом, понятным для всех, знакомых с движениями этого предмета. Характерный пример — обозначение змеи извивающимся движением руки или всего тела.

Сюда же, в сущности, относятся звукоподражательные междометия — они ближе к подражательной мимике, чем к собственно «речи». Нередко они переходят в область речи, становясь корнями глаголов и имен, — напр., «кукушка», или французское соэ — петух, и т. п. Такими переходами лишней раз подчеркивается основное организационное единство всех форм символически.

Развитие речи, которое шло следом за прогрессом и усложнением производства, принесло громадные количественные изменения вместе с преобразованием и внешней ее структуры. На месте нескольких десятков грубых, неизменяемых первичных корней оказались сотни тысяч новейших слов-понятий с их тонкими, тонкими вариациями, с их разнообразно-сложными комбинациями. Но изменились ли основные принципы происхождения и функции элементов речи?

Относительно функций — вряд ли здесь надо еще доказывать, что она осталась координационной: нужна исключительная слепота, чтобы не видеть этой роли языка во всей практике жизни <sup>2)</sup>. Но как обстоит дело с принципом Нуарэ?

В его буквальной, первой формулировке он к современному языку, разумеется, почти неприменим. Но у нас сама собою получила его новая формулировка, расширенная и обобщенная. Она

<sup>1)</sup> Более того. Повидимому, начало подражательного рефлекса имеется во всех случаях, — оно только может подавляться при опасности более сильными реакциями. А нередко этот рефлекс и используется в самой борьбе. Так, при фехтовании важную роль играют подражательно-рефлекторные движения глаз бойца, следящих за глазами противника.

<sup>2)</sup> Думаю, что я достаточно выяснил это и в учебниках экономической науки, и в «Науке об общественном сознании». Возражений по существу мне в литературе не встречалось.

такова: обозначением психо-моторной реакции служит специализированная часть этой реакции. Применима или не применима такая точка зрения к нынешней символической речи?

Берем для иллюстрации название предмета, положим, — «человек». Что представляет психическое содержание понятия, «выражаемого» этим словом, и что — самое слово? Первое может быть только психо-моторным комплексом, более или менее сложной, в данном случае очень сложной, комбинированной двигательной реакцией, — ничем иным, потому что иных «содержаний», кроме рефлексов разных степеней сложности, психика вообще не заключает. Здесь это связано воедино вся сумма реакций восприятия и воздействия, соотносительных предмету «человек»: реакции зрительного и тактильного ощупывания, резюмируемые в понятии «формы» предмета с ее цветовым моментом, его «твердости» и пр.; реакции измерения — «величина» предмета в разных смыслах, — и другие реакции исследования — «строение», «состав», физический и химический, разные жизненные «свойства»; и всякие реакции практического отношения к этому предмету — сотрудничества и борьбы в разных видах. Вся эта рефлексная система неразрывно соединена со словом «человек»; а оно само есть тоже двигательная реакция, специальная и довольно сложная, проявляющаяся в полном виде, когда слово произносится, в неполном, когда оно «мыслится». Все вместе образует одно целое — слово-понятие <sup>1)</sup>.

Теперь если мы берем это целое, как одну сложную реакцию, как разветвленный условный рефлекс, то оказывается, что одна специальная часть его служит для него знаком, символом. А это и есть наша расширенная и обобщенная схема «самообозначения». Слово «человек» выступает, как своего рода социально-действенное междометие данной комплексной реакции; в этом смысле оно параллельно первичным социально-трудовым междометиям, из которых, в конечном счете, произошло.

Изменилось одно: способ формирования слов-понятий. Оно уже идет не первоначальным стихийно-непосредственным, физиологическим путем, не путем простого отрыва «звуковой» части действенного психического комплекса, — а сложным социальным путем: через комбинирование, варьирование и подбор комбинаций и вариаций старых, стихийно-создавшихся первичных корней.

<sup>1)</sup> Для точности характеристики надо добавить, что реакции восприятия и воздействия входят в содержание понятия не в их индивидуальных формах, а в социально-сложившихся, исторически выработанных коллективных (не как «субъективные», а как «объективные» реакции). Напр., у мизантропа или параноика реакции практического отношения к людям «извращены»; у дальтониста и слепого реакции «внешней формы» неполны; содержание понятия объективное (социально-значимое) от этого не меняется.



изводят движением руки в воздухе его контур, т. е. сокращенную реакцию ощупывания, или когда, напр., для обозначения роста человека, о котором хотят сообщить, поднимают руку на соответствующую высоту. Таковы, затем, и «подражательные» знаки, которые название животного (или мнимо-живого объекта) заменяют подражанием его действиям. Дело в том, что подражательные рефлексы представляют одну из основных черт обезьян и человека, да и всех стадных, социальных животных; механизм их коренится глубоко в центральном нервном аппарате. По отношению к человеку можно определенно утверждать, что всякий движущийся предмет, поскольку он не вызывает в данной обстановке реакций борьбы или бегства, неизбежно порождает подражательные реакции <sup>1)</sup>, в той или иной степени полноты и интенсивности (т. е. в форме либо действий, либо стремлений и двигательных представлений). Предмет сам «обозначает» себя тем, что вызывает подражательную реакцию, которая становится его символом, понятным для всех, знакомых с движениями этого предмета. Характерный пример—обозначение змеи извивающимся движением руки или всего тела.

Сюда же, в сущности, относятся звукоподражательные междометия—они ближе к подражательной мимике, чем к собственно «речи». Нередко они переходят в область речи, становясь корнями глаголов и имен,—напр., «кукушка», или французское соэ —петух. и т. п. Такими переходами лишней раз подчеркивается основное организационное единство всех форм символически.

Развитие речи, которое шло следом за прогрессом и усложнением производства, принесло громадные количественные изменения вместе с преобразованием и внешней ее структуры. На месте нескольких десятков грубых, неизменяемых первичных корней оказались сотни тысяч новейших слов-понятий с их тонкими, тонкими вариациями, с их разнообразно-сложными комбинациями. Но изменились ли основные принципы происхождения и функции элементов речи?

Относительно функций—вряд ли здесь надо еще доказывать, что она осталась координационной: нужна исключительная слепота, чтобы не видеть этой роли языка во всей практике жизни <sup>2)</sup>. Но как обстоит дело с принципом Нуарэ?

В его буквальной, первой формулировке он к современному языку, разумеется, почти неприменим. Но у нас сама собою получила его новая формулировка, расширенная и обобщенная. Она

<sup>1)</sup> Более того. Повидимому, начало подражательного рефлекса имеется во всех случаях,—оно только может подавляться при опасности более сильными реакциями. А нередко этот рефлекс и используется в самой борьбе. Так, при фехтовании важную роль играют подражательно-рефлекторные движения глаз бойца, следящих за глазами противника.

<sup>2)</sup> Думаю, что я достаточно выяснил это и в учебниках экономической науки, и в «Науке об общественном сознании». Возражений по существу мне в литературе не встречалось.

такова: обозначением психо-моторной реакции служит специализированная часть этой реакции. Применима или не применима такая точка зрения к нынешней символической речи?

Берем для иллюстрации название предмета, положим,—«человек». Что представляет психическое содержание понятия, «выражаемого» этим словом, и что—самое слово? Первое может быть только психо-моторным комплексом, более или менее сложной, в данном случае очень сложной, комбинированной двигательной реакцией,—ничем иным, потому что иных «содержаний», кроме рефлексов разных степеней сложности, психика вообще не заключает. Здесь это связано воедино вся сумма реакций восприятия и воздействия, соотносительных предмету «человек»: реакции зрительного и тактильного ощупывания, резюмируемые в понятии «формы» предмета с ее цветовым моментом, его «твердости» и пр.; реакции измерения—«величина» предмета в разных смыслах,—и другие реакции исследования—«строение», «состав», физический и химический, разные жизненные «свойства»; и всякие реакции практического отношения к этому предмету—сотрудничества и борьбы в разных видах. Вся эта рефлексная система неразрывно соединена со словом «человек»; а оно само есть тоже двигательная реакция, специальная и довольно сложная, проявляющаяся в полном виде, когда слово произносится, в неполном, когда оно «мыслится». Все вместе образует одно целое—слово-понятие <sup>1)</sup>.

Теперь если мы берем это целое, как одну сложную реакцию, как разветвленный условный рефлекс, то оказывается, что одна специальная часть его служит для него знаком, символом. А это и есть наша расширенная и обобщенная схема «самообозначения». Слово «человек» выступает, как своего рода социально-действенное междометие данной комплексной реакции; в этом смысле оно параллельно первичным социально-трудовым междометиям, из которых, в конечном счете, произошло.

Изменилось одно: способ формирования слов-понятий. Оно уже идет не первоначальным стихийно-непосредственным, физиологическим путем, не путем простого отрыва «звуковой» части действенного психического комплекса,—а сложным социальным путем: через комбинирование, варьирование и подбор комбинаций и вариаций старых, стихийно-создавшихся первичных корней.

<sup>1)</sup> Для точности характеристики надо добавить, что реакции восприятия и воздействия входят в содержание понятия не в их индивидуальных формах, а в социально-сложившихся, исторически выработанных коллективных (не как «субъективные», а как «объективные» реакции). Напр., у мизантропа или параноика реакции практического отношения к людям «извращены»; у дальтониста и слепого реакции «внешней формы» неполны; содержание понятия объективное (социально-значимое) от этого не меняется.



## IV.

Мы видели, что в процессах обсуждения и решения слова, а также другие знаки, замещают трудовые реакции, практические действия, что для коллектива представляет огромный выигрыш со стороны экономии сил, как целесообразности их затрат. Это замена полных реакций неполными для их комбинирования и подбора, по тому же, в сущности, принципу, какой учение о рефлекссах устанавливает для индивидуальной психики, выясняя реальный смысл работы «сознания» вообще.

Но когда человек живет в коллективе, и символы упрочились в его психике, стали постоянными и в то же время специальными заместительными частями действительных комплексов, тогда они, естественным образом, выполняют эту функцию и внутри его психики, там, где ему приходится комбинировать и выбирать реакции в одиночку, не в обсуждении с другими. Человек с самим собой «обсуждает», как ему действовать, и приходит к решению таким же способом, как при обсуждении с другими людьми в коллективе. Напр., колебания, при виде врага, между «нападать» и «бежать» выступают как разногласия с самим собой. Тот из этих двух символов, который найдет наибольший отзвук в его психике, вытеснит из «сознания» другой, а затем, оставшись без конкуренции, развернется в действенный комплекс, обозначающей частью которого является.

Кроме замены действия его символом, здесь получается, обычно, еще другая экономия в затрате энергии: «слова» могут не выкрикиваться, как на изображенном нами примитивном вече людей или галок, и вообще не произноситься вслух, как при культурном, менее импульсивном обсуждении, — а опять-таки «мыслиться», т. е. замещаться их двигательными образами. Благодаря этому они могут сразу по несколько совмещаться в сознании, т. е. большее их количество принимает участие во внутреннем обсуждении — мышлении<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Упрощенность выбранного мной примера в анализе столь «глубокого» и столь «философского» вопроса: «что есть мышление?» — заставляет меня вспомнить о неоднократных обвинениях в грубой схематизации, вульгарности поясняющих иллюстраций, сводящей их к незаконным аналогиям, и проч. Мне не случилось отвечать на это — выскажусь мимоходом здесь. Почтенные критики, в мышлении которых преобладает материал схоластических тонкостей, а не конкретного социального развития практики и науки, плохо понимают силу метода упрощения, иначе называемого абстрактно-аналитическим. Общие закономерности господствуют на деле над означенными выше тонкостями, а не наоборот. Как ни длинен культурно-исторический путь от первобытного «нападать-бежать» до гамлетовского «быть или не быть», основное тождество обоих «обсуждений» несомненно, — способ выработки и выбора целесообразной реакции один здесь и там.

Если мышление представляет коллективное обсуждение, перенесенное внутрь отдельной особи, то понятным становится и то, что оно при известных условиях может заменять это обсуждение. Тогда обсуждающее и решающее лицо выступает в *организаторской* социальной роли, которая может развиваться только благодаря символической речи<sup>1)</sup>. Он, при посредстве слов, которые им мыслятся, комбинирует, в пределах своей психики, в виде неполных реакций — «образов» — действия свои и других членов коллектива, а при посредстве слов, которые затем уже и произносятся, реально вызывает выработанную комбинацию действий. Так труд социально организуется через индивидуум, который представляет специализированное для этого орудие коллектива (лицо «авторитетное» или «компетентное»).

Механизм, лежащий здесь в основе, все тот же самый: понимание — подражание. Он неразрывен со всей символикой: всякое, напр., словесное внушение от одного из членов коллектива порождает в другом или других тенденцию выполнить его; различна только сила этой тенденции, благодаря чему выполнение либо реализуется, либо не идет дальше стадии двигательного образа. Это типически определяется социальными условиями, выделяющими «организаторов». Раб может обратиться в повелительном наклонении к своему господину, и внушаемая реакция у того возникает, но будет подавлена и окажется, обычно, весьма неполной, только внутренней; когда, напротив, те же слова окажет господин рабу, реакция у раба быстро и беспрепятственно разовьется в полную. — Но и во всех высших формах сотрудничества между людьми действуют те же основные механизмы, лишь в иных социальных регулировках, как бы иначе «настроенные» условиями общественного процесса.

Задача и смысл социальной психологии в ее объективно-научной постановке — по всей линии провести исследование того, как изменяются функции координационных механизмов социальной практики в зависимости от ее исторического развития.

Один из моментов этой задачи — момент начальный, и потому особенно важный — имеет в виду моя работа. Изложенные, весьма, в сущности, элементарные данные представляют достаточную опору, чтобы приступить к выяснению вопроса.

<sup>1)</sup> Стихийные зародыши организаторской функции могли предшествовать развитию речи: их возможность дается более древним и глубоким рефлекторным механизмом подражания: единица иногда определяла поведение группы прямым действием, вызывающим подражание остальных. Но тот же механизм подражания лежит, ведь, и в основе самой символической речи, и всякий иной. Подражание слова идет через его подражательное воспроизведение, хотя бы только мысленное: воспроизводится неполная реакция (символ, как часть действительного комплекса), но она затем развертывается в более полную, влечет другие ее части.



## V.

Первобытное мышление, как и вся первобытная жизнь, лежит за пределами исторической для нас досягаемости. Очень часто— в большинстве случаев—социологи и этнологи подразумевают под этим выражением примитивное мышление дикарей, современных и известных в прошлом, хотя почти столь же часто делают оговорки о неточности такого понимания. Для нас дело идет об упрощающей абстрактно-аналитической конструкции, выведенной из наблюдений над примитивным мышлением с одной стороны, над тенденциями развития мышления—с другой. Это, в сущности, гипотеза, но научно-законная и научно-необходимая для объяснения всего данного нам материала.

Главная, наиболее поражающая черта примитивного мышления—в первобытном она должна была выступать еще резче—это а л о г и з м. Его этнология и социология до сих пор, собственно, только описывали, а не объясняли. Такова и наиболее удачная его формулировка, «loi de la participation» Леви-Брюля. По этому «закону сопричастия», в мышлении дикаря существует постоянная возможность взаимного замещения части с целым и подобным с подобным.

Основы этого алогизма сразу становятся ясны, если применить то, что нам известно об условиях рефлексов полных и неполных, трудовых и символических.

Как мы знаем, для повторения реакции не требуется полного повторения первоначальных ее объективных условий,—достаточно частичного; нередко даже она возникает в отсутствии почти всей прежней ее внешней обстановки, благодаря только воспроизведению некоторых внутренних условий организма, с которыми она была связана; так это бывает, напр., с «воспоминаниями по ассоциации», в сновидениях, и проч. Неполноте условий соответствует обычно неполное или ослабленное повторение,—вместо трудового акта часть его, стремление, двигательный образ, вместо действительного комплекса его «символ», звуковой или мимический,—притом реально выступающий, или только «мыслимый».

Отсюда прямо вытекает основа первобытного алогизма—первичная неопределенность значений звуковых и мимических символов.

Поясняю это на примере, заимствованном из прежних моих работ<sup>1)</sup>. Индо-европейский корень «ku» (в усиленной форме sku) соответствует понятию «рыть», «копать»; возможно, что его нача-

<sup>1)</sup> «Наука об обществ. сознании» (стр. 63 по 3-му изд. 1923 г.); «Падение велик. фетишизма» (стр. 24—25, изд. 1910 г.), где критически приводится цитата на ту же тему из «Ursprung der Sprache» Нуаре.

лом явился звук, вырывающийся при акте копания от надавливания грудью на рукоятку примитивного орудия, подобного заступу; тогда это—первичный корень. часть трудовой реакции. Так как физиологически эта звуковая часть реально воспроизводится всего легче, то она выступает и тогда, когда налицо имеются лишь неполные, даже весьма неполные, условия реакции, как целого, и когда наибольшая часть этого целого остается на уровне стремления или двигательного образа. Та сумма условий, при которой данная реакция возникла впервые в организме работника-дикаря,—когда он ее научался,—была вся обстановка коллективно-трудового акта копания: другие работники, занятые этим делом, надлежащие орудия в их руках, углубления в почве, груды вырытой земли, и проч. Но когда весь сложный рефлекс упрочился в организме, то достаточно уже некоторой доли этих условий, иногда очень малой, чтобы он вновь выступил на сцену, в форме неполной реакции: главные составляющее движение, сокращения массивных и удаленных от мозга мускулов—не практически-реально, а ослабленными до степени двигательных образов; некоторые легко воспроизводимые части, особенно звуковой рефлекс, в действительном внешнем проявлении, хотя бы и ослабленном, но уже доступном слуховому восприятию. Это бывало и тогда, когда человек видел орудие копания, или труд вырытой земли, или просто яму, даже не занятую людьми, или животное, роющее землю и проч. Все это тоже «обозначалось» звуком «ku», т. е. вызывало его, как отзвук в человеке естественный и «попятный» для других членов коллектива, совпадающий с таким же отзвуком в их психо-физиологических системах. Так на деле получалось неопределенное множество значений, разными соотношениями связанных с основной действительной реакцией—трудовым актом копания. Все то, что в новейших языках выражается опромным потомством слоев, происходящих от корня «ku», выражалось тогда самим этим корнем<sup>1)</sup>.

Первичная неопределенность включает, между прочим, во многих случаях одинаковое обозначение противоположностей. Это вполне естественно потому, что противоположность всегда предполагает ряд условий общих для той и другой ее стороны,—без чего не может и возникнуть противопоставлений; а эта общая часть условий может вызывать и общую реакцию; вообще, противоположные понятия относятся к одним и тем же активностям. В новейших языках имеется немало следов такой первоначальной связи в значениях слов одного корня, как, напр., в русском «полный» и «полный», «сок» и «сухой» (в латинском тоже succus и siccus), «конец» и «начало» (корень—звук k, с последующим носовым), «врать» и «верить», и проч. Есть даже случаи, где такую роль играет одно слово. Напр., в латинск. altus — высокий и глубокий;

<sup>1)</sup> Напр., русское «копать», латинское cavus — пустой, sculpo — долбить французское cave — погреб и т. д.



то и другое связано с одним рефлексом—поднятия; также sacer—священный и проклятый; к тому и другому запрещалось прикасаться, следовательно, общий рефлекс—избегать, удаляться. Указывают, что в древне-египетском «кеп» означало и «сильный» и «слабый», и лишь впоследствии второе значение обособилось в форме «кап»: то и другое связано с образом большого мускульного напряжения, которое слабому требуется для всякой работы, и на которое сильный наиболее способен, и т. п.

Все это вполне объясняет первичный алогизм и делает понятной его жизненную необходимость. Замещение целого и части определяется тем, что целое и часть, будучи типически нераздельны, входят в состав условий одной и той же двигательной реакции. Стоит только подумать о том, что охотнику в большинстве случаев удастся видеть сначала не «целое» животное, а только какую-нибудь, часто очень малую, «часть», которая потом реально замещается для него целым: было бы плохо для него, если бы, увидев между деревьями часть головы медведя, он не реагировал на нее достаточно полной анти-медвежьей реакцией, включающей и слово «медведь», хотя бы только мыслимое, а не произносимое вслух. «Алогизм» тут налицо, как совершенно необходимое приспособление.

Замещение подобного подобным—частный случай того же соотношения. Подобие, сходство есть не что иное, как частичное тождество, совпадение некоторых частей двух комплексов, при чем естественно, что эти совпадающие части вызывают одинаковую реакцию на то и на другое целое. Видевший тигра, но лишь в первый раз встречающий льва, вполне естественно реагирует прежней системой рефлексов: «подобие» в основе не просто индуктивное отвлечение сходных черт разных комплексов, а весьма реальная биологическая вынужденность повторения раньше выработанных рефлексов в условиях, повторяющихся не вполне, а только частично. И мышление—речь, природа которого та же рефлекторно-практическая, не может идти иными путями.

Замещаться может не только подобное подобным, но также любой предмет или явление другим, ему типически сопоставляемым, напр., животное—его следом, пещера—ее постоянным обитателем, и обратно. Это, опять-таки, связь части с частью—двух частей одного комплекса, вызывающего в своем целом определенную реакцию полностью, а свшими раз'единившимися частями—ее же, но в разных степенях неполноты.

## VI.

Вместе с загадкой первобытного «алогизма» здесь решается и вопрос ей противоположный—вопрос о культурном «логизме», как жизненном (социально-биологическом) приспособлении,—об его генезисе, значении, пределах.

В чем он заключается? Да именно в том, что мышление—речь не замещает целого частью и обратно, подобного подобным, сопут-

ствующего сопутствующим, что часть мыслится, как нечто иное, чем ее целое, вещь В, как нечто иное, чем похожая на нее или сопутствующая, но не тождественная вещь А. Это значит, что для каждого из перечисленных случаев имеется особая мыслительная реакция—особый речевой рефлекс, за которым, конечно, скрывается, как его основа, особый комплекс действенно-практический. Другими словами, весь генезис «логизма» сводится к дифференцированию рефлексов, как собственно-практических, так и символизированных.

Нет надобности пояснять и доказывать, что для борьбы человечества за существование такой аналитический «логизм» выгоден и часто необходим. Весьма бесполезно реагировать одинаково на живого медведя и на снятую медвежью шкуру или покинутую медвежью берлогу, на тигра и на подобную ему цветом и полосами зебру, даже на тигра и льва, и т. п. <sup>1)</sup> Но здесь следует и вполне возможно, принципиально решить вопрос о жизненном соотношении алогизма и логизма, об их взаимных границах.

Мы видели: сущность алогизма—это обобщающая природа рефлексов. Рефлекс алогичен по самой сущности своего механизма, которая одна и та же для рефлексов практических и для мыслительных—речевых.

«Грудной младенец... еще не есть существо мыслящее. Но он уже существо действующее, он так или иначе реагирует на события. Прикоснитесь к его ручке чем-нибудь очень холодным,—он отдернет ее. Если холодный предмет заменить горячим, он также отдернет ручку. Острие иглы вызовет то же движение... Оно является одинаковым ответом на различные раздражения...

«...Человек идет по тропинке, ее прерывает яма, большой камень, ствол упавшего дерева, лужа; все эти различные вещи он лишь несколько тысяч лет тому назад сумел обобщить познавательно, в понятии «препятствия», но, конечно, задолго до того, наглядно для всякого наблюдателя обобщал практически, в акте перепрыгивания, в одинаковом движении, относящемся к общему для человека свойству всех этих, столь различных предметов.

«Такова жизненная необходимость. Воздействия и сопротивление среды... никогда не повторяются. Если бы организму надо было так же разнообразно реагировать на них, то он никогда не мог бы ничему «научиться», не имел бы возможности выработать никаких действительных приспособлений; когда и каким путем выработаются целесообразные реакции, если каждая годится только

<sup>1)</sup> Славянская народная мудрость в сказке о «набитом дураке» поучает относительно невыгодности недостаточной дифференцированных реакций: герой сказки одинаково приветствует носильщиков хлеба и носильщиков трупа, одинаково ведет себя на свадебном и на похоронном собрании; в результате его везде бьют.



на один раз? Именно в обобщающем их характере заключается основная экономия сил активного существа<sup>1)</sup>.

Но если так, если отношение алогизма и логизма сводится вообще к отношению обобщающей и дифференцирующей тенденции в мышлении на основе тех же тенденций в практике, то ясно, что алогизм не мог и не должен был исчезнуть в «культурном», более развитом мышлении. Оно, действительно, алогично,—логизм в нем только «островки среди океана», только частичные коррекции царящего алогизма.

Аналогичны и самые высшие, творческие проявления механизма мысли, и самые низшие, стадио-консервативные.

Ни один шаг познавательного синтеза не был — и не может быть сделан без нарушения законов логики. Когда было сказано: «Земля вращается», — то люди строгой логики имели все основания объявить это нелепостью. «Вы явно называете черное белым, принимаете *A* равным *не-A*», могли бы они сказать. «Мы выдали вращающиеся предметы и знаем, какой вид это имеет; вы сами можете сесть на вращающееся тело, напр., на колесо, и убедиться, какие ощущения это вызывает. Земля такого вида не имеет и ощущений таких не вызывает; если всякое известное нам вращение есть *A*, то ваше «вращение» земли есть *не-A*; обозначая их одним и тем же словом, вы грубо нарушаете закон тождества». И, конечно, не менее резко противоречила логике идея, что земля непрерывно падает на солнце, луна на землю: «падать» во всей практике людей означает в первую очередь п р и б л и ж а т ь с я, затем именно — приближаться по вертикали вниз; а луна, напр., половину своего периода удаляется от земли, при чем на вертикаль ее траектория вообще несколько не похожа.

На замещении подобного подобным основан целиком метод аналогий, которым оперирует всякое техническое, научное и художественное творчество, — при чем, как видим, степень «подобия» может быть как угодно мала. Да, в сущности, и всякое обозначение нового предмета или факта прежним словом — без чего речь и мышление невозможны — уже заключает в себе элемент алогизма. Ребенку показали кошку и сказали: «это киска». Когда он после того, встречая другую кошку, не тождественную с первой, сколько-нибудь иную по цвету, росту и проч., называет ее «киска», то логика его принципиально та же, как и в тех случаях, когда он затем «киской» называет рысь, тигра, тюленя, сову, меховое боа, чью-нибудь мягкую шевелюру. Где предел объективной, правильности этого алогизма, решает только живая социально-биологическая практика.

Здесь мы видим, что алогизм замещения полон и положительных, творческих возможностей, и отрицательных, как источник

<sup>1)</sup> «Социализм науки», Москва, 1918, стр. 37—39; перепечатано в сборнике «О пролетарской культуре (1904—1924)», изд. 1925 г., стр. 271—272.

ошибок. Последнее особенно характерно для алогизма консервативных, стихийно сложившихся понятий, который является могущественным идеологическим орудием в социальных столкновениях, расовых, национальных, даже классовых. Это «логика», напр., всевозможных погромов. Когда немцы бьют русских на полях сражений, московский троглодит вполне алогично громит единственную в России фабрику медикаментов, отождествляя прозного немца на фронте с немцем, мирно производящим лекарства для русской армии. «Немец равен немцу», *A* равно *A*: это первичное тождество алогизма и логики прекрасно умеют использовать все устроители погромов, все демагоги. На фронте я был свидетелем того, как солдатики, при сочувствии большинства офицеров, с огромной затратой сил громили и с диким наслаждением всячески оскверняли все помещичьи и крестьянские дома, магазины, госпитали, все полезные и удобные помещения, в результате чего сами должны были квартирно довольствоваться всецело сараями и хлевами: логика отождествления медведя с его покинутой берлогой. Те же формы алогизма можно у нас наблюдать в виде самых распространенных приемов полемики, всегда, соответственно общему уровню культуры, отражающих методологию реальной борьбы в данном обществе<sup>1)</sup>.

В культурном развитии человечества алогизм динамический есть необходимый путь всего творчества, хотя, конечно, и неизбежный источник его ошибок, селективно, т. е., через отбрасывание неудачного, устраняемых практикой. Результаты творчества, прошедшие через контроль этого подбора, закрепляясь в систематизированных логических формах: логика есть основное статическое приспособление культуры. Напротив, статический алогизм есть выражение культурной инертности, мера исторической отсталости и застойности коллективов, классовых, национальных и всяких истин.

## VII.

Одно из проявлений первичного алогизма, важное по своему широкому развитию и всеобщему распространению, представляет магизм замещения в разных его формах: магизм частей — целого, изображений, сопутствующих комплексов, магизм имен и других символов. Его можно, без сомнения, в исторически уже усложненном виде, наблюдать у современных дикарей и у отсталых

<sup>1)</sup> Я имею в виду широко распространенный прием отождествления опровергаемых идей с другими, заведомо ненавистными публике, путем энергичного подчеркивания каких-нибудь частичных совпадений или даже чисто внешнего сходства, — напр., когда большевиков 1905—1906 г.г. обвиняли в анархизме за бойкот Вулыгинской и I-й Гос. Думы, за убийство шпионов и некоторые партизанские выступления, или когда по сходству нескольких терминов отождествляют философские, научные доктрины и т. п. Этот прием, представляющий эксплуатацию массового алогизма, практически тем безошибочнее, чем более темна и невежественна публика, к которой обращаются.



элементов «культурных» или полу-культурных народов. Сюда относятся целый ряд типичных форм колдовства: с помощью изображений тех существ, на которых хотят повлиять в смысле их привлечения к себе или нанесения им вреда, уничтожения, либо с помощью их частей (волос, ногтей, выделений), либо с помощью сопутствующих комплексов (принадлежностей костюма, следов и проч.). Например, наносил раны булавкой фигуре, изображающей врага, рассаживают его след и бросают в огонь; чтобы возбудить любовь к себе в желанной особе, проделывают разные манипуляции с ее волосами, кусками одежды; чтобы привлечь к охотникам известного рода дичь, аналогично колдуют над ее шкуркой, когтями, и т. д.

Здесь, в общем, дело идет о реакциях захвата, обладания, разрушения. Они представляют громадную биологическую важность, как средство удовлетворения основных потребностей человека. Поэтому их настоящее, реальное выполнение связано с определенным эмоциональным удовлетворением, они интенсивно приятны. Когда же они воспроизводятся при неполной сумме условий, как в данном случае—частично или символически, они, по общему закону, соединяются с теми же эмоциями: захват, обладание, разрушение частей субъекта, или его подобий доставляют удовольствие, хотя, конечно, ослабленное и менее длительное. Таким образом, самое происхождение данного типа магизма с нашей точки зрения никакой загадки не представляет, оно вполне ясно; и вопрос приходится поставить иначе, а именно: почему эти магические действия связаны с оживлением реализации того, к чему относятся? Почему здесь так долго не развивалась логически-познавательная коррекция на основе практики? Ведь, казалось бы, как раз в силу практической важности *реального* захвата, обладания, разрушения должна бы особенно быстро обнаружиться неудовлетворительность «иллюзорного» осуществления всего этого.

К вопросу всего лучше подойти конкретно. По отношению к рисункам первобытных художников, например, знаменитым изображениям животных в Альгамбрской пещере, можно считать общепринятым, и на самом деле вполне вероятным, мнение Соломона Рейнака, по которому роль их была «магической». Значит ли это, что они были всецело и исключительно источником иллюзорного самоудовлетворения для пещерных жителей, веры в то, что животные, которыми они владеют *in effigie*<sup>1)</sup>, попадут в их власть и реально? Легко убедиться, что нет, что тут имелось нечто иное, гораздо более существенное: могучее орудие в действительной борьбе за существование.

Перед нами, во-первых, самое насущное воспитательное средство для коллектива охотников. Каким способом, при элемен-

<sup>1)</sup> В Средние Века преступников, скрывшихся или слишком высокопоставленных, казнили иногда «в изображении».

тарных формах речи, дать понятие детям, живущим в пещере, об охоте на большого зверя, ее методах и опасностях? Сделать это без помощи изображений прямо невозможно; а водить детей для обучения на настоящую охоту такого рода, где шансы гибели и для взрослых очень велики, было практически весьма невыгодно, вообще говоря,—просто недопустимо.

Во-вторых, быть может, еще важнее,—это было орудие так называемой «Vorbereitung» коллектива, психической подготовки «настроения» и действительной памяти охотников перед выступлением на охоту, т. е. оживления в их мозговых центрах соответственных групп рефлексов. Их неполное, но живое воспроизведение перед рисунками—нечто в роде охотничьего танца у нынешних дикарей—обуславливает затем наибольшую энергию, наилучшую точность и координацию реального выполнения этих же рефлексов на самой охоте. Группы, имевшие «магов» художников, должны были лучше выживать в жизненной борьбе, не имевшие—скорее и чаще погибать. Сила «магии» рисунков и скульптур была вполне реальною технической силой.

Другие приемы первичного магизма имеют не менее серьезную базу в практике. Обладание частью или сопутствующим объектом является в массе случаев действительным шагом к захвату целого и главного. Поймали детеныша,—мать должна быть недалеко, она даже очень часто сама выбежит тогда на охотников, имеются наибольшие шансы овладеть всей семьей животного. След животного или врага-человека дает верный путь к нему; капли крови, если оно или он легко ранены, приведут преследующих к цели, даже если твердая почва не сохраняет обычных следов; шерстинка, выделения животного, клочок одежды человека могут сыграть такую же роль. И здесь магизм фиксирует первоначально связь реально-практическую, от которой он и получает свою культурно-историческую прочность.

Поэтому нет ничего непонятного в том, что элементы заместительного магизма сохраняются и у культурных народов отнюдь не только в виде суеверий наиболее отсталых или вырождающихся социальных групп. Здесь особенно характерны эмоциональные реакции—любви, злобы, похоти и проч. Влюбленному доставляют действительное удовольствие ласки, расточаемые им портрету дамы его сердца, а в случае ссоры с нею действительное, хотя и неполное облегчение горечи обиды дает разрывание на куски того же портрета; уничтожение Керзона *in effigie* давало истинное удовлетворение многим юным патриотам; порнографическими изображениями реально наслаждались многие незрелые отроки и перзрелые мужи; и т. д.

Все это, конечно, не проявления первобытного магизма; но такие реакции генетически ближе к нему, в большей мере сохраняют его зерно и помогают пониманию настоящей его природы, чем идеологически осложненные суеверия современных племен и народов как просто диких, так и прикрытых оболочкою цивилизации.



## VIII.

От первичного магизма, оперирующего с реальными комплексами—частями предметов, их подобиями и пр., следует отличать высшую, более сложную форму—магизм символов, прежде всего—слов, выражающийся в разного рода заклинаниях, заговорах и т. п.

Его простейший случай—магизм имен, названий, вера в то, что обладание ими дает власть над существами, к которым они относятся. Отсюда у многих дикарей стремление скрывать свои имена от врагов, действительных или даже только возможных, смена имен при известных условиях, тайные имена рядом с явными и т. п. Объяснение здесь не представляет трудностей и вытекает из самой сущности именных реакций.

Именная реакция—обозначение лица, вообще индивидуального существа или индивидуального объекта словом, первоначально и типически имеющим другой смысл.—основана, очевидно, на той же самой первичной неопределенности значений, на замещительстве части и целого, подобного подобным. Достаточно, чтобы человек хромал, и это весьма частичное проявление становится постоянным символом всей его личности, имеем «Хромающий» или «Хромой»: достаточно, чтобы он сложением или походкой был похож на медведя, и он—«Медведь», и т. п. Понятно, что имена берутся из слов, выражающих действия, из названий внешних объектов, особенно животных, потому, что они обладают наибольшим сходством с людьми,—частей тела, орудий и проч.

Можно думать, что индивидуальные имена развились позже, чем названия вещей,—орудий, объектов труда, его продуктов. Но, вообще, между именами и названиями сколько-нибудь резкой границы провести нельзя, особенно в примитивном мышлении. Имя—часть существа, которому оно принадлежит, название—часть предмета, к которому относится. И вполне естественно, что тут применима «парциальная» магия. Обладание именем имеет такое же значение, как обладание иной немаловажной частью лица или предмета: может давать власть над ним, служить средством его захвата или воздействия на него.

Реально-техническая, отнюдь не иллюзорная основа этого магизма раскрывается легко; иллюстрируем на простейшем примере из области охоты или войны. Дикарь рассматривает неясные следы, его действия неуверенны, нерешительны. Но вод он наложил на эти следы «имя» зверя или врага,—и колебания уже нет больше, он знает, что делать, какие приемы применить: жертва «обречена»<sup>1)</sup>. И далее, простое сообщение «пойманного» имени компаньонам

<sup>1)</sup> «Обречена»—это, собственно, и значит—«охвачена речью», т. е. — названа. Латинское *voco*—«обрекаю»—имеет такое же значение (родственно *voco*—называю, зову). Гений языка здесь формулирует сущность именного магизма.

следопыта, может быть, не столь опытным, неспособным самостоятельно ориентироваться в следах и в их соотношениях с обстановкой. сразу делает их гораздо более умелыми сотрудниками для него, организует «магизм» планомерного коллективного действия со всей его вполне объективной, прибавочной силой.

Вполне понятно, что и этот тип реально-магического эффекта отнюдь не исчезает в дальнейшем развитии человечества. Разве знание имен подчиненных не нужно руководителю для управления ими, разве оно не повышает практическую эффективность его власти? Разве Наполеон известной долей своей магической власти над армией не был обязан тому, что знал по имени чуть ли не всех своих солдат? А знание имени преступника, списка заговорщиков не дают ли преследователям реальную власть над их судьбой? Напротив, перемена имени, чужой паспорт не являются ли одним из лучших орудий самозащиты для преследуемых обществом? Не случайно в языке и в логике даже не дикарей, а такого народа, как древние вавилоняне, понятие «существовать» передавалось выражением «иметь имя» или «иметь название».

За магизмом имен следует магизм заклинаний: вера в силу специальных словесных формул (еще раньше—песен) над людьми и над вещами. Его исходный пункт лежит, несомненно, в примитивных технических правилах и в организации сотрудничества посредством слов (а также трудовых песен). Техническое правило—первоначально просто цепь слов, выражающая цепь действий в их планомерной последовательности; его знание дает людям реальную силу в борьбе с природою—силу кристаллизованного трудового опыта прошлого. Трудовая песня, а еще больше, в дальнейшем, словесные распоряжения руководителей, координируя действия людей, формируют также огромную дополнительную силу сотрудничества. Стоило дикарям констатировать эти объективные факты на своем поэтически-образном языке,—и перед нами готовая формулировка веры в действительное могущество слов, в словесную причинность, т. е. магизм заклинаний.

В детски-импульсивной натуре древнего дикаря действия и выражающие их слова (полу-междометия) были неразрывны. Выполняя какую-нибудь относительно сложную цепь трудовых операций, он должен был непрерывно повторять (бормотать, как это и теперь часто наблюдается) техническое правило их последовательности, применявая сюда пожелания, выражающие то, к чему он стремится в своей работе. Первое мнемонически поддерживает уверенность его движений, второе укрепляет их энергию и настойчивость. Оба элемента легко найти, большей частью, конечно, осложненно-запутанными и спутанными, при анализе новейших заклинаний; например, лечебные постоянно соответствуют схеме: «Делаю над больным то-то и то-то, уйдет болезнь туда-то и туда-то».... плюс еще, обычно, мифологическое описание самой болезни. Осложненность же и запутанность—неизбежный результат консерватизма



формулы в их передаче от поколения к поколению: они сохраняют первоначальную форму и всю неточность языка эпохи мифологического мышления, между тем как изменяется и самая техника действий, и значения слов в их логическом и алогическом дифференцировании<sup>1)</sup>.

Почти нет надобности пояснять, что реальные моменты магизма слов сохраняются в культурном развитии. Комбинации слов и других символов в технических и научных формулах еще больше, чем прежде, служат мощными орудиями власти над природою, словесные комплексы приказаний и норм по-прежнему приводят в движение человеческие силы, индивидуальные и массовые, или определяют, ограничивают это движение. «Слова» убивают и спасают людей на каждом шагу. Отпала наивно-алогическая оболочка, да и то не настолько, как это обыкновенно думают.

Есть даже одна обширная область, которая до сих пор почти всецело пропитана верою в самостоятельную силу символов, это область искусства. Там дух магизма царит и теперь, там заклинание если не стихий, то человеческих душ, выступает как истинная задача «творчества», в основе которого принимается таинственно-магическая способность. Только организационный анализ социальных функций искусства освободит его от власти пережитков магизма.

## IX.

Тотем — одна из загадок примитивного мышления, вызвавших наибольшее число наиболее противоречивых гипотез. Между тем, по своей жизненной функции это вещь очень простая: коллектив и имя, родовое, фратриальное или племенное.

Зная, что развитие функции практически определяется потребностью, здесь легко уже сделать вывод об условиях генезиса тотемизма: он мог возникнуть лишь тогда, когда налицо была потребность в именах для коллективов. В эпоху полной разрозненности первобытных «орд» и их стихийной враждебности такие имена реально не нужны; надобность в них является при мирных сношениях между родовыми группами, сношениях родственно-союзных или меновых.

В этих сношениях, как нам известно, коллектив не прямо вступает в общение с другим коллективом, а через своего руководителя, патриарха или вождя. Поэтому с полным основанием можно принять

<sup>1)</sup> Любопытно, что одно из гениальнейших произведений мировой литературы — «Песнь о колоколе» Шиллера — в своем структурном плане воспроизводит эту первичную двойственную схему технического указания-пожелания, что делается и что должно получиться из работы. В эту «заклинательную» схему уложена целая картина жизни городского мелко-буржуазного мира.

Заклинание-песня, часто фигурирующая в мифах, напр., финских, очевидно, имеет основу в практическом «магизме» песни трудовой.

что первоначальное различие — обозначение сторон тут должно было сводиться к именам этих организаторов: фиксированных коллективных имен еще не было. Но с развитием культуры предков происходила и фиксация, на основе имени определенного «родоначальника»: по мере того, как его фигура возвышалась в сознании потомков через «накопление авторитета»<sup>1)</sup>, имя это приобретало характер «тотема», с возрастающей затем религиозной окраской, осложнением «табу» и проч.

Но если так, то почему тотемическое имя в большинстве случаев представляется не случайным? Почему у кланов охотничьих это чаще всего имя животного, притом играющего важную роль в охоте данного клана, у рыболовов очень часто название рыбы, и т. п.? Ответ негруден, если принять в расчет направление подбора в социальной среде, подбора, который отбрасывает одни имена предков-организаторов, как менее подходящие, фиксирует другие, в зависимости от всей суммы условий групповой психики.

Пусть имеется ряд авторитетных предков, из которых одни носили имена «парциальные» (замещение целого частью), например, «Острое Ухо», «Короткая Нога» и т. п., другие — имена «симбилярные» (по сходству), например, «Волк», «Бизон», «Астрель», «Большой Дуб» и пр. Легко видеть, что имена первого типа гораздо менее приспособлены к роли тотема, слишком индивидуальны для коллектива: «Короткая Нога», «Острое Ухо», исчезают со смертью их носителей, и для запоминания этих имен нет никакой объективной опоры; напротив, «Волк», «Бизон», сохраняют множество отзвуч в окружающей группу обстановке, находят массу повторных отзвучков и потому гораздо более способны удержать именную функцию. Но и эти далеко не все одинаково жизненны; здесь может решать вопрос практическая важность тотемного существа или вещи для данного коллектива: у охотников скорее удержится «Бизон» или «Волк», у рыболовов «Форель», и т. п.

Обычная бесплодность рассуждений о тотемизме определяется тем, что в них идут ошибочным путем, начинают не с того конца: в первую очередь цепляются за формальное значение коллективного имени, а не исходят из его реально-организационной функции,

<sup>1)</sup> Это — «механизм обожествления, очень простой: умершие авторитеты остаются таковыми для авторитетов живых, и тем самым возвышаются над ними; поэтому каждое новое поколение, выдвигая своих авторитарных руководителей, прибавляет нечто к авторитарной высоте наиболее отдаленных предков, и они вырастают в гигантские фигуры богов. Это процесс длительный, и потому на первых стадиях тотем — имя, положим, означающее название животного, еще не имеет настолько священного характера, чтобы ограждать это животное от охоты и употребления в пищу членами группы данного тотема: а на стадиях более поздних развивается такое тотемическое табу. Кунов, не понявший этого, сделал вывод, что первоначально «тотем» просто условное название, принятое для отличия данной родовой группы от других. Но «дикарь, прибегающий к таким условным символам, есть, конечно, переодетый европеец» (цитаты из ст. «На пол-пути», рецензии на Кунова в «Научн. Извест.», сб. I, стр. 189—190).



в которой суть дела. Первый и основной вопрос вовсе не в том, почему «Волк», «Хлебное Дерево», «Дождь», — а в том, какие объективные связи и разграничения групп выражаются этими символами, — при чем без особо-важных изменений хода жизни могли бы выражаться и другими.

С этой точки зрения легко видеть, что сущность «тотемизма» вовсе не связана с дикостью и варварством, что она в новых формах вполне сохраняется среди современной цивилизации. Коллективные имена самых различных степеней широты существуют; только исчезла их конкретная образность и алогизм именных отождествлений — свойства примитивной речи и примитивного мышления. Есть родовое имя — «фамилия»; если у туземцев Австралии мужчина и женщина одного тотема совсем не могут вступать в брак, то у европейцев, когда жених и невеста носят одну фамилию, венчающий их жрец или мэр ставит вопрос о степени их родства. В гербах старой аристократии сохранились следы «зоологического» тотемизма; на почве феодального объединения он даже в свое время вырос до национального масштаба: «тотем» англичан — леопард, французов — петух, русских — медведь, и т. д. Конечно, большая часть верований, связанных с ним, отпала; но вряд ли все: кое-что на эмоциональной основе осталось. А если говорить о коллективных именах вообще, то роль их с ростом и расчленением коллективов, конечно, возросла.

## X.

К области магизма символов относится также вопрос об австралийских «чурингах», каменных или деревянных «душах» тамошних дикарей. Это одна из наиболее страшных загадок зародышевой культуры; с точки зрения чисто методологической я позволю себе высказать несколько соображений о путях подхода к ее разрешению.

Принципиально ошибочными следует считать те попытки, которые берут за основу всецело современные верования-суеверия дикарей. Идеология в своем консерватизме нагромождает одни наложения на другие, все их более или менее сохраняя в причудливом ослеплении: анализ чисто идеологический не имеет никаких способов и шансов выделить из этого первичное зерно. Такой значительный по сумме проявлений и широко распространенный на целом материке обычай должен иметь своей базой реальное приспособление, практическую функцию, чего и следовало искать. Этнологи преобладающего современного типа не склонны к таким поискам по самой своей природе; и не удивительно, что они ничего такого не находят.

Возможно, разумеется, и то, что эта практическая функция уже вся в прошлом, а нынешние «чуринги» только ее пережиток, — подобно тому, как в сфере культа сохраняются материальные следы исчезнувшей техники в религиозно-идеологическом применении.

Но и тогда какие-нибудь указания в практике самого обычая могут привести на линию разгадки.

То, что сообщают о чурингах, всякого экономически-мыслящего человека неизбежно должно наводить на мысль о «регистрационных карточках», о «душах» в нашем крестьянском смысле — «души» едоков или рабочих или надельных. Собственно «регистрационная» функция, повидимому, и теперь отчасти сохранилась — только ее экономический смысл неясен. Заведуют ими «старички» — многоопытные руководители жизни хозяйственной и семейной; они хранят чуринги в одном месте, для чего-то их время от времени пересматривают, вносят каждую родившуюся душу, отмечают, надо полагать, каждую умершую. Иная форма регистрации у дикарей, не имеющих письменности и имеющих только зачатки счета, очевидно, и невозможна. Даже на гораздо более высоких ступенях развития метод замещения людей в расчетах материальными символами в этом роде, несомненно, встречается<sup>1)</sup>.

Какие реальные потребности могут требовать такой регистрации, для какого учета — у теперешних австралийцев, этого этнологи не выяснили, может быть, потому только, что не выяснили, а может быть, как мы сказали, и потому, что этих потребностей уже нет. Австралийские системы родства, вообще сложные, иногда до крайности запутанные, сами по себе как будто уже нуждаются в подобной регистрации, которая могла бы фиксировать данные о родственных отношениях с помощью специального расположения чуринг, знаков на них и т. п. Но могут быть и более глубокие экономические корни, если не в настоящем, то в прошедшем. Несответствие между сложностью верований, а также систем родства, и крайней примитивностью хозяйственной жизни австралийцев заставляет думать, что они стояли когда-то на более высоких ступенях развития. Быть может, существовало общинное хозяйство такого типа и с такой степенью централизации руководства, что «карточки» для распределения рабочей силы, запасов на неблагоприятное время года и т. п. были очень нужны: только имея перед глазами легко обозримый «душевой» состав общины, могли «старички» — организаторы успешно выполнять свои, тяжелые для неразвитого, консервативного мозга, «плановые» задачи. Если нынешние «чуринги» — остаток древнего хозяйственно-статистического метода, то не было бы удивительным сходство с ними некоторых находок в европейских раскопках магдаленского и азильского периода.

Не мне решать эти вопросы, но думаю, что вполне законно, с точки зрения метода, их поставить.

<sup>1)</sup> Я вспоминаю из одного путешествия по Северной Африке рассказ о «марабутах», т. е. святых или мудрецах, к которым окрестные жители обращаются во всех своих конфликтах. Выслушавшая их жалобы и показания, марабут раскладывает перед собою камешки разного цвета и формы, обозначая, таким образом, действующих лиц задачи; обдумывая дело, он передвигает камешки, пока не находит таким способом решения.



в которой суть дела. Первый и основной вопрос вовсе не в том, почему «Волк», «Хлебное Дерево», «Дождь», — а в том, какие объективные связи и разграничения групп выражаются этими символами, — при чем без особо-важных изменений хода жизни могли бы выражаться и другими.

С этой точки зрения легко видеть, что сущность «тотемизма» вовсе не связана с дикостью и варварством, что она в новых формах вполне сохраняется среди современной цивилизации. Коллективные имена самых различных степеней широты существуют; только исчезла их конкретная образность и алогизм именных отождествлений — свойства примитивной речи и примитивного мышления. Есть родовое имя — «фамилия»; если у туземцев Австралии мужчина и женщина одного тотема совсем не могут вступать в брак, то у европейцев, когда жених и невеста носят одну фамилию, венчающий их жрец или мэр ставит вопрос о степени их родства. В гербах старой аристократии сохранились следы «зоологического» тотемизма; на почве феодального объединения он даже в свое время вырос до национального масштаба: «тотем» англичан — леопард, французов — петух, русских — медведь и т. д. Конечно, большая часть верований, связанных с ним, отпала; но вряд ли все: кое-что на эмоциональной основе осталось. А если говорить о коллективных именах вообще, то роль их с ростом и расчленением коллективов, конечно, возросла.

## X.

К области магизма символов относится также вопрос об австралийских «чурингах», каменных или деревянных «душах» тамошних дикарей. Это одна из наиболее странных загадок зародышевой культуры: и с точки зрения чисто методологической я позволяю себе высказать несколько соображений о путях подхода к ее разрешению.

Принципиально ошибочными следует считать те попытки, которые берут за основу всецело современные верования-суеверия дикарей. Идеология в своем консерватизме нагромождает одни настояния на другие, все их более или менее сохраняя в причудливом сплетении: анализ чисто идеологический не имеет никаких способов и шансов выделить из этого первичное зерно. Такой значительный по сумме проявлений и широко распространенный на целом материке обычай должен иметь своей базой реальное приспособление, практическую функцию, чего и следовало искать. Этнологи преобладающего современного типа не склонны к таким поискам по самой своей природе; и не удивительно, что они ничего такого не находят.

Возможно, разумеется, и то, что эта практическая функция уже вся в прошлом, а нынешние «чуринги» только ее пережиток, — подобно тому, как в сфере культа сохраняются материальные следы исчезнувшей техники в религиозно-идеологическом применении.

Но и тогда какие-нибудь указания в практике самого обычая могут навести на лишнюю разгадку.

То, что сообщают о чурингах, всякого экономически-мыслящего человека неизбежно должно наводить на мысль о «регистрационных карточках», о «душах» в нашем крестьянском смысле — «душ» едоков или рабочих или надельных. Собственно «регистрационная» функция, повидимому, и теперь отчасти сохранилась. — только ее экономический смысл неясен. Заведуют ими «старички» — многоопытные руководители жизни хозяйственной и семейной; они хранят чуринги в одном месте, для чего-то их время от времени пересматривают, вносят каждую рожившуюся душу, отмечают, надо полагать, каждую умершую. Иная форма регистрации у дикарей, не имеющих письменности и имеющих только зачатки счета, очевидно, и невозможна. Даже на гораздо более высоких ступенях развития метод замещения людей в расчетах материальными символами в этом роде, несомненно, встречается <sup>1)</sup>.

Какие реальные потребности могут требовать такой регистрации, для какого учета — у теперешних австралийцев, этого этнологи не выяснили, может быть, потому только, что не выясняли, а может быть, как мы сказали, и потому, что этих потребностей уже нет. Австралийские системы родства, вообще сложные, иногда до крайности запутанные, сами по себе как будто уже нуждаются в подобной регистрации, которая могла бы фиксировать данные о родственных отношениях с помощью специального расположения чуринг, знаков на них и т. п. Но могут быть и более глубокие экономические корни, если не в настоящем, то в прошедшем. Несответствие между сложностью верований, а также систем родства и крайней примитивностью хозяйственной жизни австралийцев заставляет думать, что они стояли когда-то на более высоких ступенях развития. Быть может, существовало общинное хозяйство такого типа и с такой степенью централизации руководства, что «карточки» для распределения рабочей силы, запасов на неблагоприятное время года и т. п. были очень нужны: только имея перед глазами легко обозримый «душевой» состав общины, могли «старички» — организаторы успешно выполнять свои, тяжелые для неразвитого, консервативного мозга, «плановые» задачи. Если нынешние «чуринги» — остаток древнего хозяйственно-статистического метода, то не было бы удивительным сходство с ними некоторых находок в европейских раскопках магдаленского и азийского периода.

Не мне решать эти вопросы, но думаю, что вполне законно с точки зрения метода, их поставить.

<sup>1)</sup> Я вспоминаю из одного путешествия по Северной Африке рассказ о «марабутах», т. е. святых или мудрецах, к которым окрестные жители обращаются во всех своих конфликтах. Выслушав их жалобы и показания, марабут раскладывает перед собою камешки разного цвета и формы, обозначая, таким образом, действующих лиц задачи; обдумывая дело, он передвигает камешки, пока не находит таким способом решения.



К решению загадок первобытного и примитивного мышления мы прилагали основные принципы учения о рефлексах, а где этого было недостаточно — принципы исторического материализма, что существовало тоже рефлексологии, но социальной. И оказывалось, что наибольшие из этих загадок не только легко разрешимы, но, пожалуй, даже «загадками» являлись лишь по недоразумению; для других же, более частных, намечается сам собою путь вполне надежного подхода к их решению. Вместе с тем обнаруживается отрицательная сторона новейшего развития специализации. До сих пор этнологи и генетические социологи обыкновенно в недостаточной мере знакомы с методами психофизиологии, чтобы приложить их к изучению своего материала, — только психоанализ последнее время завоевывает их внимание; но он сам еще требует освещения теорией рефлексов; а к историческому материализму большая часть означенных специалистов, как известно, относится отрицательно.

Есть еще одна определенная отрасль науки, столь же малочисленна или еще меньше применяемая в этих вопросах — социальная зоология. По своей сущности это тоже «социальная рефлексология», но не специализированная на человеческих коллективах, следовательно, более общая и более элементарная. Так как мне не пришлось в предыдущем конкретно иллюстрировать ее значение, то приведу сейчас один пример.

Проф. В. К. Никольский в своей очень хорошей и ценной, вообще, книге «Очерки первобытной культуры» пропагандирует, между прочим, гипотезу, по которой скотоводство и земледелие произошли из тотемизма, путем попыток приручения «тотемов» животных и разведения «тотемов» растений<sup>1)</sup>. Идеологичность гипотезы бросается в глаза; однако, это не решает дела, потому что она имеет за собою некоторые частные факты, допускающие, повидимому, такое истолкование. Но посмотрите, как оно сразу обесценивается, лишь только мы вспомним, что у муравьев тоже существует, у многих видов, скотоводство, у некоторых американских — зародышевое земледелие, у других — даже парниковое огородничество. Разведение тлей, как «молочного» скота, вещь широко популяризированная; менее общеизвестно разведение скота «алкогольного»: уход за некоторыми живущими в муравейниках жучками, выделяющими какие-то эфирные вещества специального для муравьев назначения. Техасские муравьи вплотную подошли к примитивному земледелию, выпалывая вокруг своих муравейников все травы, кроме определенного злака, «муравьиной травы». Южно-американские листогрызы культивируют особые грибки, свои «шампиньоны», внутри муравейников на почве, которую удобряют жеванными кусочками листьев и своей мочой. Вот в таких фактах следовало бы искать указаний на возможные пути генезиса двух главных форм производства. Даже сейчас можно найти следы тех

<sup>1)</sup> «Оч. первобытн. культуры», стр. 158—9 (перв. изд.).

стихийно-симбиотических отношений, которые первоначально связали человеческие группы со стадами постепенно одомашненных затем животных: кочеванье арктических племен вслед за стадами диких, а затем полу-диких северных оленей, республиканские общины собак в городах Востока, и т. п. Идя по таким линиям, не потребуется, для логической выдержанности, искать тотемов у муравьев.

Мне скажут — в виде возражения, — что все это есть «биологизация общественных наук». Я отвечу: конечно, да. Внесение методов и точек зрения биологических наук в науки социальные необходимо и полезно; так же необходимо и полезно, как в свое время внесение физико-химических методов и точек зрения в науки биологические, как применение математического анализа в физико-химии. Жизнь социальная подчинена всем законам жизни вообще, как жизнь вообще — всем законам движения и энергии. Кто думает иначе в биологии, — виталист; кто думает иначе в социальных науках, тот есть точный гомолог виталиста в этой области, скажем — социал-виталист.

Для биологизации общественных наук время пришло. Через нее в эту область проникнут также методы более точных наук. Но совершенно иное приходится сказать о попытках внести в социологию, прямо и непосредственно, механическую точку зрения в ее абстрактной форме. Я имею в виду ближайшим образом одну, к сожалению, пока еще только «философскую», без конкретного развития и приложения, формулировку Н. Бухарина, данную сначала в его книге «Исторический материализм», а затем подчеркнутую в статье по поводу этой же книги в «Вестнике Соц. Академии». Вот как она там выражена: «... мною предлагается новое материалистическое решение задачи, идущее по линиям марксовым решений. Оно таково. — Под производственными отношениями я разумею трудовую координацию людей (рассматриваемых как «живые машины») в пространстве и времени. Система этих отношений настолько же «психична», как система планет вместе со своим солнцем. Определенность места в каждую хронологическую точку — вот что делает систему системой. С этой точки зрения всякая психичность базиса исчезает». Далее идет оговорка об «опосредствующей» роли психических элементов, что, по мнению автора, не нарушает «стройности аргументации»<sup>1)</sup>.

Так это или не так, но, к сожалению, «стройность аргументации» нарушена уже в основной формулировке — словами «трудовая координация людей». Кто употребляет слово «трудовой», тот говорит о «психичности»: понятие труда уже включает ее. Маркс труд людей прямо характеризует сознанием цели; но и «труд» пчелы, который он противопоставляет человеческому, как низшую форму, во всяком случае включает в себе и момент оц у щ е н и я

<sup>1)</sup> № 3, 1923. «К постановке проблем истор. материализма», стр. 9.



выполняемого усилия, и момент восприятия достигаемых результатов. без чего расстроилась бы последовательность трудовых актов.

Но, может быть, это просто неудачное выражение? Сравнение с планетами говорит о том, что «координацию» автор хочет представить, как чисто пространственную и временную связь движений, как векториальное их соответствие, — соответствие по направлению и величине<sup>1)</sup>, плюс, сверх того, может быть, соотношение близости. Автор, очевидно, и не пробовал применить свою точку зрения на деле, иначе он сам увидел бы, что из нее получается.

Представим себе, напр., систему сотрудничества германского флота во время войны: один крейсер в Балтийском море, другой — у берегов Новой Зеландии. Так как это почти антиподы, то с векториальной точки зрения, если сопоставлять гомологичные движения матросов здесь и там, получается прямая противоположность. Напротив, соответствие движений матросов на английском и немецком крейсере, следящих друг за другом, с той же точки зрения весьма велико. Таких примеров можно дать сколько угодно. Возьмем из биологии. Клетка — водоросль *Zoochlorella* живет в клетке инфузории — сувойке; клетка — возбудитель сифилиса бледная спирохета живет в клетке человека. Пространственно-временное соотношение тождественно; а между тем в первом случае посты для хозяина драгоценный сотрудник, во втором страшный враг.

А если взять социально самый близкий и простой пример, — какую пространственно-временную, планетного типа, координацию сумел бы Н. И. Бухарин найти между движениями рабочего на фабрике и крестьянина на падеке?<sup>2)</sup>

Дело, конечно, не в пространственно-временной координации, которая есть лишь частный и не частый случай, — в простейших, главным образом, формах сотрудничества: даже в организме координация рефлексов в общем не векториальная. Дело в координации жизненной, биологической, т.е. организационной. И органы сознания в человеке и формы идеологии в обществе — это именно средства, орудия такой координации рефлексов, в самом широком смысле слова.

Эта точка зрения научно необходима, без нее нельзя исследовать, от нее не уйти.

*А. Богданов.*

<sup>1)</sup> Между прочим, даже у солнца и планет «координация» не только пространственно-временная, но и энергетическая, не только векториальная, но и тензорная.

<sup>2)</sup> Источник ошибки Н. И. Бухарина в стремлении во что бы то ни стало покончить с «психичностью», относительно которой у него концепция не конкретно-научная, не биологическая (сознание — неразрывное с другими, звено живой цепи рефлекса), — а абстрактно-философская, в духе старой идеалистической психологии (психическое, как противоположность материальному). Роль «философских» традиций и навыков становится в наше время все более анти-научной.